

Содержание

Пролог	7
Тетрадь 1. <i>В Бессарабии</i>	10
Тетрадь 2. <i>Исход, или Пытка стыдом</i>	106
Тетрадь 3. <i>Вотчина Хохрина</i>	133
Тетрадь 4. <i>Сквозь Большую Гарь</i>	183
Тетрадь 5. <i>Архив иллюзий</i>	271
Тетрадь 6. <i>Строптивый ветеринар</i>	387
Тетрадь 7. <i>Оазис в аду</i>	437
Тетрадь 8. <i>Инородное тело</i>	513
Тетрадь 9. <i>Черная роба или белый халат?</i>	557
Тетрадь 10. <i>Под «крылышком» шахты</i>	655
Тетрадь 11. <i>На вершине</i>	677
Тетрадь 12. <i>Возвращение</i>	717
Об авторе	794

Пролог

Мемуары? Нет! Листки, на которых записаны «наброски» прошлого. Вроде выцветших семейных фотографий, которые дороги лишь тем, кто в расплывчатых изображениях узнает лица давно умерших людей — родных, друзей... а в данном случае — и врагов.

Тебя нет со мной, но ты — в моем сердце!

Мама! Дорогая моя старушка! Мой первый и последний, единственный и незаменимый друг!

Тебя уж нет, но ты во всем, что меня окружает: это кресло — старое, но удобное (я его купила, потому что ты любила все уютное); стол — легкий и низкий, чтобы ты могла без напряжения к себе его пододвигать; множество подушек — твоё zestre¹, чтобы тебе всегда было удобно; радио, проигрыватель, множество пластинок (и сколько еще ты их собиралась купить!). Ведь ты так любила музыку! Ты жила ею. Она была тебе нужна как воздух. Недаром накануне смерти², когда тебе трудно было дышать, ты просила поставить пластинку с «Иваном Сусаниным». Тебе не хватало сил подпевать любимым ариям, но ты продолжала дирижировать уже слабеющей рукой: «Ты взойди, моя заря, последняя...»

¹ Приданое (рум.).

² Александра Алексеевна Керсновская умерла 17 января 1964 г. — Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, — примеч. ред.

А картины? Ведь это твоя «галерея» развешана повсюду, куда бы мог упасть твой взор! Я рисовала их для тебя, думая о тебе. Признаться тебе? Ведь я стала рисовать там, в Норильске, сразу после того, как оставила за собой тюрьму, где рисовать было запрещено, даже если бы на это нашлись время и силы, не говоря уж о бумаге и красках.

Не было еще ни тюфяка, ни простыни, не было даже своего угла, но я уже мечтала нарисовать что-то красивое, напоминающее прошлое, то прошлое, которое неразрывно было связано с тобой, моя родная!

Первое, что я нарисовала, — «Дубки» Шишкина. Я рисовала и в мыслях бродила с тобой по тем местам, которые изображала, и разговаривала с тобой, хотя и считала тебя мертвой, но где-то в глубине души жила надежда — тот слабый огонек, без которого жизнь темна. Ведь есть же разница между абсолютной темнотой, окружающей слепого, и зрением, пусть самым беспомощным, когда еле-еле видишь источник света! Такой источник света теплился в моей душе. Рисуя, я чувствовала, что ты со мной. Не потому ли ты так любила мои картины? Ты ощущала то же, что и я: «Когда тебя нет со мной, я смотрю на твои картины и как будто гуляю там с тобой! И мы разговариваем. И потому я их так люблю! Вот эту, и эту, и ту...»

Ты так хотела, чтобы я рисовала, чтобы вообще жизнь моя была полнее, интереснее. Каждый раз, беря газету, ты смотрела программу кино и уговаривала меня: «Пойди посмотри! В „Дружбе“ — то-то, в „России“ — то-то. Va! J'aime tant lorsque tu va au cinéma!¹ Я не хочу, чтобы ты из-за меня лишала себя развлечений».

Ты говорила это, будучи уже больной. Как я могла тебе сказать, что мне не до развлечений? Что тоска и тяжелое предчувствие цепко держат меня? Что мне хочется взять тебя на руки, прижать к сердцу и грудью своей заслонить тебя от неумолимого рока? Единственное, что я могла придумать, — это рисовать. Я ухватила за эту возможность и принялась за марины Айвазовского. Добрая моя старушка! Ты не поняла моей хитрости. Ты так обрадовалась! Я наладила тебе портативный столик, чтобы ты могла раскладывать пасьянс, а сама расположилась у твоих ног со своими красками, кистями. Ты сидела в кресле и смотрела на меня своими добрыми, влюбленными глазами и не переставала восторгаться: «Vraiment, tu as du talent! Tu dois faire de la peinture! Absolument! Promets-le moi!»²

И еще об одном ты меня просила: записать историю тех лет — ужасных, грустных лет моих «университетов»: «Ты иногда рассказы-

¹ Иди! Я так люблю, когда ты ходишь в кино! (фр.)

² Право слово, у тебя талант! Ты должна заниматься живописью! Непременно обещай это мне! (фр.)

ваешь то отсюда кусочек, то оттуда... Я никак не разберусь! Напиши все подряд, и когда ты мне прочтешь, то я, может быть, пойму».

Нет, дорогая моя! Ты всей этой грустной истории так и не узнала. Вся моя жизнь в те годы была цепью таких безобразных и нелепых событий, которые не умещаются в разуме нормального человека и не доходят до чувств того, кто этого не пережил...

Теперь я плачу...

...Не о том, что я абсолютно одинока, что никому во всем свете нет дела до меня: до того, что меня радует, что огорчает, грустно мне или весело. И не оттого, что мне не о ком заботиться, некого приглубить с полным сознанием того, что моя любовь нужна кому-то, как майский дождь растению. Я просто не могу смириться с мыслью, что после двадцати лет, прожитых мамой вдали от меня, не имея никакой опоры, кроме себя самой, своих сил, своего ума и доброй воли, смерть ее безжалостно обворовала.

Именно теперь, когда моя храбрая старушка с молодой душой смогла получить все, о чем могла только мечтать, — она потеряла все это, не успев как следует насладиться!

А она так верила, что в моих объятиях застрахована от всякой беды...

— Я горжусь тобой! Ты — мое все! С тобой мне ничего не страшно.

В последние минуты своей жизни она просила: «Ne me quitte pas!¹ Не уходи никуда!» — и протягивала ко мне руки.

А я не сумела оправдать ее доверия. И я плачу... Хоть не умею плакать: в горле будто железный комок: он меня душит, а облегчения нет...

Вот и получилось «вместо предисловия»!

¹ Не покидай меня! (*фр.*)

Тетрадь 1

В Бессарабии

Смерть отца

Прежде я никогда не плакала. Когда умер отец, которого я боготворила, мне было не до слез: надо было спасать маму, едва не умершую с горя. Спасать не только ее жизнь, но и рассудок, которого она чуть не лишилась — так велико было ее горе...

Кроме того, что греха таить, Румыния была страна средневековая, феодальная, и когда главою семьи оказалась девушка, то многие акулы ринулись в надежде поживиться. Папа — юрист-криминолог и «джентльмен до кончиков ногтей» — отнюдь не был образцовым хозяином-земледельцем. Все хозяйство — забота о земле, о работе — давно было моей обязанностью, и я всегда была рада и горда, что он мог спокойно читать в шезлонге в своем саду, который он так любил; рядом с ним — мама, у его ног — любимая собака, и кругом мирная картина: вековые дубы, лужайка, сад, виноградник... Я гордилась тем, что могу дать ему возможность отдыхать, а не биться как рыба об лед: нелегко было вести хозяйство, когда из ничего надо было создать что-то. Кто видел, с какими трудностями приходилось встречаться мне? Папа, как английский король, «царствовал, но не управлял». Зато он пользовался неограниченным кредитом у местных богачей, скупщиков зерна: денег он брал сколько хотел, а расплачивался, когда реализовывал урожай, то есть к весне.

Умер отец в самый разгар осенних полевых работ, и кредиторы предъявили к оплате векселя раньше, чем покойника в гроб положили. Но они просчитались: вместо того чтобы подписать кабальные

обязательства, я через головы местных акул заключила сделку с Государственным федеральным банком, обязавшись поставить для экспорта зерно самой высокой кондиции. Один Бог знает, сколько мне пришлось для этого потрудиться!

Но это было потом. А пока что, едва похоронив отца, я сразу же расплатилась со всеми долгами и в дальнейшем ни разу не воспользовалась кредитом, который мне предлагали местные финансовые тузы. Но для того чтобы доказать, что я твердо стою на ногах, мне пришлось не на шутку проявить «глазомер, быстроту, натиск». Горе должно было молчать, было не до слез.

Слезы не приносят облегчения. Они лишь расслабляют, от них подкашиваются ноги и туман застилает глаза. Необходимость борьбы, напротив, встряхивает, заставляет напрячь силы и обостряет взор.

Я решила твердо стать на ноги, добиться независимости и для этого прежде всего обзавелась идеальным сельскохозяйственным инвентарем лейпцигской фирмы «Эдельвайс», пожалуй лучшей в мире.

К чему я это вспоминаю? Для того, чтобы объяснить, как могло случиться, что повседневные хозяйственные заботы отвлекли мое внимание от грозных событий, потрясавших Европу. Нет, я неправильно выразилась. Я внимательно следила за сгущавшимися на горизонте тучами, но недостаточно вдумывалась в смысл происходящего: повседневные заботы заслоняли собой горизонт, и создавалось обманчивое впечатление, что гроза пройдет мимо.

В Европе разгоралась непонятная для нас «странная война». Обе стороны топтались, стоя друг против друга, и показывали одна другой кукиш в кармане. При поверхностном осмотре казалось, что «лава застыла», но подземные удары заставляли настораживаться.

Как-то не верилось, что, кроме Запада, существует еще и Восток. Наверное, оттого, что там происходило слишком много непонятного. Особенно с 1937 года. А тому, чего мы не понимаем, мы не верим. Только этим я могу объяснить свою близорукость!

Я работала с каким-то упоением, с остервенением. И результаты уже сказывались: я акклиматизировала новые виды злаков (шестирядную рожь, безостый ячмень, кукурузу «чинквантино»), поставляла отделению народного хозяйства (Camera Agricolă) сортовые семена, за что оно предоставляло мне трактор для вспашки земли. Одновременно «встала на рельсы» ферма племенного скота — свиньи ланкастер и овцы-метисы каракуль.

Могла ли я больше внимания уделить отдаленным раскатам грома, будучи уверена, что гроза пройдет мимо?

Роковой год...

Шел 1940 год. В марте я внесла последние деньги за инвентарь: хозяйство было чисто от долгов и процветало. Наступил июнь месяц.

27 июня, вернувшись вечером с поля и управившись с хозяйством, я подсела к маме — попить чаю. Лампу не зажигали: за окном горел закат — любимое «освещение» моей мамы, и мы сидели у открытого окна, пили не спеша чай и слушали радио. Девять часов. Из Бухареста передают последние новости: «Из Лондона сообщают...» Вначале — о положении на фронте, весьма печальном для Франции: немцы без всякого сопротивления шагают на юг; в Савойю вторглись итальянцы, но были отброшены; в Греции...

И вдруг тем же монотонным голосом диктор продолжает: «Советский Союз высказал претензию на территорию Бессарабии. Смешанная комиссия в составе (имярек) генералов вылетает в Одессу для урегулирования этого вопроса...»

Мама подносила ко рту чашку. Рука ее задрожала, и чашка со звоном опустилась на блюдце. Я помню ее растерянный взгляд.

— Как же так? Что же это будет?

До меня, кажется, не дошло то, что мы услышали. Или показалось чем-то несерьезным — очередной «уткой».

— Что будет — увидим. А пока что пей чай! — сказала я невозмутимо.

Теперь даже трудно себе представить, что сердце, которое должно было быть вещуном, ничего не возвестило. Как будто еще совсем недавно в прибалтийских республиках не произошло нечто подобное и как будто мы не могли догадаться, во что это выльется! Одно лишь несомненно: в этот вечер мы в последний раз уселись за стол безмятежно. Чай мы не допили и из-за стола встали в подавленном настроении. Мама расстроилась, а я... О, я не догадывалась о том, что нас ждет. Ночью по Сорокской горе непрерывной вереницей шли автомашины с зажженными фарами. Мы думали, что это румынские. Нам и в голову не пришло, что в Бужеровке наведен понтонный мост и что это советские танки и бронемашины.

Я не имела ни малейшего представления о том, что в нашей жизни произошел крутой поворот и что все привычное, незбылемое оказалось уже где-то за чертой горизонта!

Утром, отправляясь в поле на пропашку сои, я зашла к маме и, поцеловав ее, сказала:

— Когда встанешь, послушай-ка, какие новости сообщат по радио.

...И — роковой день... Начало «новой эры»

Не пришлось прибегать к помощи радио! «Новости» явились сначала в виде советских самолетов. Один приземлился неподалеку от нашего поля. Еще несколько таких же небольших самолетов с ревом пронесли на бреющем полете на запад.

Бросив работу, я поспешила домой. По дороге через деревню Цепилово проходили грязные, защитного цвета бронемшины, небольшие танкетки. То тут, то там стояли они у обочины дороги. Черные лужи смазочного масла виднелись на дорожной пыли, и измазанные бойцы что-то чинили. Одна машина вышла из строя на перекрестке, неподалеку от нашего дома. Из нее текло что-то черное, и деревенские парни, подталкивая друг друга локтями, хихикали и острили:

— Как овечки: где стал, там и лужа...

Они шушукались, посмеивались, подталкивая одного немолодого уже мужичка, пока тот не шагнул вперед и не спросил:

— Что ж это вы, ребята? Только что границу перешли — и сразу на ремонт?

На что механик буркнул сквозь зубы:

— Мы уже три месяца в походе...¹

Дома я маму не застала: она ушла в город за новостями. Я пошла туда же. За сорокским мостом, метрах в пятидесяти, под откосом лежала опрокинутая машина. Рядом — труп солдата, укрытый плащ-палаткой. Лицо покрыто каской. На обочине сидел унылого вида солдат с винтовкой.

— Как это случилось? — спросила я.

— Горы-то какие! Разве выдержат тормоза?

Я удивилась: какие же это горы? Маленький уклон! Но ведь в мире все относительно!

«А где здесь у вас ба-а-а-рин?»

Встреча с нашими новыми хозяевами состоялась на следующий день. Воскресенье. В поле работ нет. Я отпустила в город не то на митинг, не то на парад своих рабочих — мальчишку Тодора и бездомного старика-пьяницу дедушку Тому, приблудившегося как-то в ненастную зимнюю пору к нам, да так и оставшегося при хозяйстве.

¹ В июне 1940 г. по советско-румынскому соглашению государственная граница СССР с Румынией была восстановлена по рекам Прут и Дунай. На территорию Бессарабии и Северной Буковины, отторгнутую от Советского государства в 1918 г., были введены войска Южного фронта Красной армии.

А сама я, задав корм всем находящимся дома животным, занялась огрынжами¹.

Работа грязная, неприятная: пыль, соломенная труха и навоз сыпались мне на голову и, смешиваясь с потом, текли по лицу ручьями.

Вдруг со стороны леса появилась группа всадников, военных. Один из них, подъехав ко мне, обратился с нескрываемой насмешкой:

— А скажи-ка, где здесь у вас ба-а-а-рин?

Я внимательно осмотрела его и его весьма неказистую лошаденку, воткнула вилы и, смахнув тыльной стороной руки пот с лица, не спеша ответила:

— Барин — это я!

У них был такой оторопелый вид, и поэтому я, чтобы вывести их из неловкого положения, продолжала:

— А что вам от меня нужно?

— У вас тут стог сена. Мы его возьмем для конной артиллерии.

Трудно сказать, что руководило мной. Было ли это желанием порисоваться, удивить? Или я решила, что лучше самой отдать, чем ждать, пока отберут, или подсознательно чувствовала, что таким путем я хоть что-то сохраняю? Не знаю... Помню только, что я душой тянулась навстречу этим людям: ведь это были свои, русские. Не осточертевшие румыны. И я сказала:

— Это сено лесное, неважное; есть у меня в трех верстах отсюда хорошее полевое сено. Чистый пырей. И его много!

Они переглянулись:

— Это очень похвально, что вы идете нам навстречу. Кто же нам укажет, где это сено?

— Я поеду с вами. Мама! — обратилась я к маме, вышедшей на кухонное крыльцо. — Мама, я съезжу с конноартиллеристами, выдам им сено!

Я пошла, чтобы умыться, а четверо конников подъехали к дому.

— Мамаша, дайте напиться!

Мама вышла с кувшином красного вина и кружкой. Она ласково и немного смущенно их угощала, наливая чуть дрожащей рукой холодное ароматное вино.

Когда я, наскоро приведя себя в порядок, выходила из дому, в коридорчике между столовой и кухней мама меня остановила и, поцеловав, сказала:

¹ *Огрынжи* — должно быть, от слова «огрызки». Зимой овцы и коровы получают лобузину, то есть стебли кукурузы. Листья они обгрызают, а стебли остаются в яслях. Их выгребают и летом высушивают в маленьких копешках, затем складывают в узкие скирды. Зимой это хорошее топливо. — *Примеч. авт.*

— Ты обратила внимание, как он сказал «мамаша»? Мне он стал сразу близок, как сын, ведь и мой сын где-то там, на чужой стороне...¹ Даст ли ему там кто-нибудь напиться? Мамаша! Они, право же, очень славные ребята, ведь так?

Что я могла ей сказать? Я сама хотела верить, что это так...

С такими ли героями Суворов перешел Альпы?

Я удивлена. И немного разочарована. (Меня ждали еще долгие годы, полные удивления и разочарования, но это позже.)

Едем размашистой рысью. Я — без седла, на молодой вороной кобыле Свастике (названной так отнюдь не в честь Гитлера, а просто у нее на лбу белое пятнышко, напоминающее свастику). До могилы Марина все шло хорошо. От могилы — крутой спуск. Я, не меняя аллюра, устремляюсь вниз, перескакивая водомоины. На половине спуска оглядываюсь. Моих спутников нет... Удивленная, останавливаюсь. Ветеринар, политрук и старшина — далеко позади. Они спешили и ведут своих коней в поводу.

Вот те на!

Вспоминаю машину, у которой не выдержали тормоза на совсем пустяковом (с моей точки зрения) уклоне. Позже, уже осенью, видела, как растерянный солдат разогнался вниз от синагоги по тропинке, что вела из Верхнего города в Старый город, в Сороках. Он не мог остановиться и бежал, испуганно повторяя:

— Вот она, страна Бессарабия!

Оказывается, все это были жители Полтавщины. У них местность равнинная, и наши холмы кажутся им горами!..

Диспут под стогом сена

Сено подсчитали, обмерили, реквизируют.

— Сейчас выдам вам расписку.

— Зачем? Сено оплате не подлежит. К чему расписка?

— Чтобы с вас это же сено вторично не потребовали.

— Неужели и такое может случиться?

Мотаю на ус...

¹ Антон Керсновский (1905–1944), брат Евфросинии Керсновской, получив образование в Австрии и во Франции, стал выдающимся военным историком русского зарубежья. В 1940 г. находился во французской армии, воюющей с фашизмом.

Сидим под стогом сена. Жарко. Легкий ветерок. Как пахнет нагретое сено!

Завязалась оживленная беседа. Вернее — словесная дуэль. Политрук и я. Ветеринар улегся под стогом и уснул. Странно! Он спит, но почему-то время от времени приоткрывает глаза и делает мне какие-то знаки. Не то подмигивает, не то предупреждает. Не пойму! Как далеко была я от мысли, что можно поплатиться, высказывая свои взгляды. Это в XX веке! Никогда бы этому не поверила!

А чтобы мог пострадать не только тот, кто говорит, но и тот, кто слушает и не бежит тотчас, чтобы донести... Нет! Такого, наверное, и в самые дикие времена инквизиции не было!

Сколько горьких уроков получила я с тех пор, сколько знаний приобрела... Пожалуй, «приобрела» — не то слово. «Выстрадала» — вот как надо сказать. Но тогда, в тот ясный летний день, когда все мои «университеты» были еще впереди, — было простительно всего этого не знать...

Политрук говорил о непогрешимости партии. Я его просила объяснить, отчего в непогрешимой партии могли оказаться такие грешники, как Тухачевский, Уборевич, Якир — «имя же им легион», — и в чем критерий непогрешимости? Политрук воспевал коллективизацию, притом добровольную; я спрашивала, как перевести на русский язык понятие «добровольная» и чем объяснить голод 1933 года, о размере которого в то время я имела очень неверное представление, так как могла допустить возможность голода лишь на необитаемом, бесплодном острове, при кораблекрушении, а не в самой хлебобородной в мире стране. Я спрашивала, какой общественный или государственный орган контролирует поступки Сталина и каким путем народ может ограничить его власть и не дать ей превратиться в самодержавие?

Домой я возвращалась шагом. Мне нужно было разобраться в нашей беседе. Политрук явно разочаровал меня: ни на один из моих вопросов он не дал исчерпывающего ответа!

Отчего, однако, ветеринар спал? И так странно?

Мама и я... помещики?

К нам — к маме и ко мне — крестьяне нашего села (и не только нашего) имели привычку обращаться по всякому поводу. К маме шли все обиженные или считавшие себя таковыми: неправильно ли обложили налогом вдову или обошли пенсией старуху, сисуопă (кукона, то есть барыня) найдет способ помочь. Неполладки в семье или не могут поделить наследство? Кукона посоветует. Кто устроит способного

ребенка бедных родителей учиться за казенный счет? Разумеется, кукона! А если имел место жандармский произвол или вымогательство (увы, в Румынии это было нередко), то обиженные и обездоленные знали прямую дорогу к куконе.

Славная моя старушка! Уже на пороге смерти сохраняла она страстную любовь к справедливости и безграничную доброту; даже в 85 лет она вспыхивала от негодования, когда узнавала, что кому-то отказали в помощи! Излишне и говорить, что в те годы, под властью румын, мама была как бы негласным депутатом, призванным защищать всех обиженных.

Ко мне обращались реже, и обычно в двух случаях. Во-первых, если нужно было обзавестись хорошими семенами (желание видеть у всех посеvy сортовыми семенами было моей слабостью, и я зачастую в ущерб себе всячески старалась их распространять). И во-вторых, если какое-либо событие захватывало врасплох: «Дудука (барышня) — ученая, она много книг прочла! Она должна знать!» Может быть, от множества прочитанных книг в голове и получается ералаш, но ко мне нередко заходили и старики, и молодежь и за стаканом вина или кружкой чая обсуждали то или иное событие. Что ж удивительного в том, что с первых же дней советской оккупации (принято говорить — «освобождения из-под власти бояр и капиталистов», но отчего не называть все своими именами, ведь только вор не говорит «я украл», а говорит «я позаимствовал») ко мне вереницей приходили из села люди:

— Что же это будет, дудука? Что нас ждет?

Я была настроена оптимистически... или хотела сама себя в этом убедить, ведь легче всего обмануть того, кто хочет быть обманутым!

— Что будет? Разумеется, со временем мы это узнаем. А пока что можно сказать лишь одно: пусть каждый занимается своим делом и делает его хорошо. Не поступай плохо — и никто тебя не обидит! Теперь у нас советские законы; значит, будем подчиняться советским законам. А мы — земледельцы. Наше дело — выращивать хлеб, и делать это нужно как можно лучше!

«Мама! Что за базар?!»

Возвращаюсь я однажды с поля. Дело было в первых числах июля. В комнатах пахнет нафталином.

— Мама! Это что здесь такое?!

Мама явно смущена. Сундук открыт. На кровати, на стульях разложены шерстяные вещи — нехитрое мамино рукоделие: шаль, чепчики, чулки, носки, кофты, свитеры — из кроличьей и овечьей шерсти. И отборные каракулевые смушки.

— Мама! Что за базар?!

— Видишь ли, ко мне приходила Нина Дмитриевна и посоветовала кое-какие зимние вещи отвезти в город... А вдруг решат, что у нас слишком много? Ведь могут забрать как излишки и оставят нам по одной лишь смене.

— Фу, мама, стыдись! Неужели мы должны красть собственные вещи? У нас нет ничего, приобретенного нечестным путем, и ничего мы не будем делать тайком, как злоумышленники, у которых совесть нечиста! Стыдись! Я этого от тебя не ожидала!

— И я так думала, но... Впрочем, ты, наверное, права.

И с этими словами мама опять сложила все свои чепчики и кофточки.

Разумеется, мама была не права: «всего лишь по одной смене» нам не оставили.

Нас выгнали из дому босиком с непокрытой головой.

Всё «слава ли Богу?»

Время неумолимо бежало. Прошла первая неделя июля. Работала я как одержимая. Искала ли я в физической усталости защиту от подспудного беспокойства, порожденного какой-то неуверенностью? Не знаю...

Поздно вечером я ужинаю. Целый день работы в поле дает о себе знать: приятная усталость, удовлетворенность после хорошо выполненной работы и волчий аппетит. Ужинаю возле открытого настежь венецианского окна при лунном свете. Лампу я не зажгла: луна такая яркая! На ужин — жареная картошка, хлеб, вино.

Открывается дверь — на пороге румынский солдат.

— Сева! Ты ли это? Слава Богу!

— Вот в этом-то я не так уж уверен — слава ли Богу? Что тут происходит? Как наши? Я — прямо к тебе.

— Да все хорошо! Чего это у тебя такой расстроенный вид?

— Все хорошо, говоришь ты... пока? А может быть, так, как у того янки, который, падая с сорок второго этажа и пролетая мимо тридцатого, успел крикнуть своему товарищу: «Пока что все о'кей!»

Узнаю его историю. По окончании агротехнической школы, семнадцати лет, он пошел волонтером в артиллерию. Образованный, смысленный парень вскоре получил звание сержанта. Их часть стояла в Оргееве. Неожиданное появление советских танков и приказ уходить в Румынию застали их врасплох. Офицеры (на то они и румынские офицеры!) бросили свою часть на произвол судьбы и растороп-

ность сержанта. Севка всегда был мальчиком практичным, любящим порядок. Он сжег брошенные начальством архивы, бросил походные кухни и пекарню, которые почему-то волокли в Румынию. Зато оружие с боеприпасами в целости и сохранности привел к мосту в Унгенах. Но тут на него нашли сомнения: он не хотел в Румынию, а как дезертировать без разрешения? Он привык, удирая с работы или с практического урока, спрашивать разрешения у старшего брата Сережи. Как быть? Следуя доброй привычке, он подошел к тому офицеру, которому передал на границе приведенную им артиллерийскую часть, и попросил разрешения дезертировать. К счастью, это был не румын, а венгр. Он внимательно осмотрел вытянувшегося перед ним во фрунт мальчика и спросил: «Ты кто? Румын?» — «Нет, русский». — «Так и ступай к русским!» Севка бросил свой наган в обозную повозку, пустил коня на мост, хлопнув его по крупу, и пошел пешком обратно.

— Вот я и не знаю, хорошо ли я поступил?

— Разумеется, хорошо! Ты же русский! Здесь ты дома!

Разве я поверила бы, скажи мне кто-нибудь, что ни ему, ни мне в России не будет ни дома, ни родины?!

Я вела себя как страус. Только вместо песка прятала голову в работу. Но даже я не могла не заметить, что атмосфера становилась все более и более душной, наэлектризованной. Ползли какие-то слухи. Все чего-то ждали. И — боялись. Когда ко мне в первый раз пришел какой-то субъект и предложил продать ему корову, я его попросту прогнала. Но за ним следом стали все чаще приходить люди, порой даже неплохие, и на все лады начинали меня уговаривать:

— Распродавай все, что можешь: скот, свиней, хлеб... Сегодня это твое, завтра им станут распоряжаться другие, а послезавтра это имущество будет для тебя петель на шее и клеймом!

Мне это надоело. Ничего незаконного я не делала и делать не буду. Я подчиняюсь закону и оставляю за собой лишь одно: право смотреть людям в глаза и не краснеть за свои поступки.

Я пошла в сельский комитет и заявила:

— Давайте-ка пришлите своих уполномоченных ко мне! Я хочу, чтобы видели и взяли на учет все, что у меня есть. И я считаю себя за все в ответе: что будет сочтено излишком, что надо будет внести в фонд совхоза или колхоза — будет мною сдано сполна! Я не знаю нашей Конституции, но я знаю закон совести и не хочу кривотолков.

Гриша Пынзарь с понятиями, по моему настоянию, пришел и убедился, что у меня все как на ладони. Все переписали, обмерили. И я успокоилась.

Митинг, решивший нашу судьбу

В субботу, 9 июля, у нас в Цепилове был митинг. Я не пошла: была занята прополкой свеклы, что росла на опушке леса.

Издали до нас долетали взрывы смеха, галдеж. Изредка свист.

Вечером ко мне пришли несколько пареньков:

— Ой, смеху было! Собрались мы. И вот приехали какие-то начальники. Стали всяко-разно говорить: «Мы вас освободили, раскрепостили. Теперь у вас будет новая счастливая жизнь! Вот у нас в колхозах получают даже по два килограмма на трудодень». Мы чуть со смеху не повалились! Чтобы мы за два килограмма хлеба работали, да на своих харчах! Тогда выступили Спиридон Мотрук и Леня Волченко. Они бедняки: ни кола ни двора — им и говорить ловчее. Их-то никто не попрекнет, не заподозрит! «Да что вы, — говорит Спиридон, — зачем мне ваши два килограмма в колхозе? Я пойду косить к нашей барышне и получу пятьдесят килограмм в день. И накормят меня пять раз от пуза, а вечером кварту вина вдобавок!» И все поддерживали. «Верно, — говорят, — не нужно нам ваших двух килограммов! Мы своим курам больше насыпаем!» На том и кончилось...

Увы! Я тогда и не поняла, что именно на этом кончилось и все мое благополучие, все мои труды и надежды! Отныне судьба моя была предрешена. Впрочем, нет: предрешена она была куда раньше. А теперь все было лишь ускорено и обставлено самым впечатляющим образом.

Проекты, расчеты — наивные до слез!

Воскресенье, 10 июля. Ясный, летний день. Жарко. Еще несколько таких дней — и надо будет приступать к уборке хлеба. У меня 20 гектаров отборной пшеницы «белая банатка». Сорт очень хороший. Но имеет один недостаток: если он сегодня созрел, то сегодня его и убирай. Завтра он будет уже осыпаться. Но кто будет убирать?

Сколько раз в жизни мне приходилось замечать, что легче всего обмануть того, кто хочет быть обманутым. Вот и сейчас: я отказывалась видеть правду и цеплялась за веру в справедливость, в закон. Прежде всего, рассуждала я, нужно понять, какие у меня права и в чем заключаются обязанности. И самое главное — пшеница не должна осыпаться. Кто же может указать мне, ясно и точно, как эти сомнения разрешает закон, которому я решила безоговорочно подчиниться, не затаив в душе ни тени лукавства? Очевидно, представитель закона. А поскольку власти у нас были пока что лишь военные, то решено было сходить к военному прокурору.

Было воскресенье. Лошади должны были отдохнуть хорошенько: предстояла страда — самая напряженная рабочая пора. Погода замечательная, и мы с мамой решили утром, по прохладце, сходить пешком в город.

Как мы с ней шли последний раз в жизни по этой так нам хорошо знакомой дороге и о чем говорили, в памяти у меня не сохранилось. Мы просто шли через сельский выгон, затем — садами, где начинала созреть вишня. Вот дорога пошла петлять через виноградники, вниз. Блеснул Днестр — широкая серебряная лента. Отчего-то эта панорама так мне запомнилась, что и сейчас кажется, будто все это я видела вчера!

Больше по этой дороге не суждено нам было ходить. И никогда уже не было на душе так ясно и спокойно.

И вот — мы у прокурора. Низкая комната — учительская в бывшем лицее, Liceul Xenopol¹.

За письменным столом — коренастый, симпатичный с виду военный, почему-то в фуражке. Я изложила ему все свои сомнения, все, что мне неясно. Как я решила, так и поступила, ничего не скрывая и не умалчивая.

Диалог был приблизительно таков. Для начала я перечислила до мельчайших подробностей все, что у меня есть. Не сочла нужным скрывать, что нас считают помещиками, — по крайней мере, так мне сказали те конноартиллеристы, которые реквизировали сено.

Особенно я подчеркнула, что главный вопрос, который должен быть безотлагательно решен, — это судьба двадцати гектаров пшеницы, которая пропадет, если ее своевременно не убрать.

— Какие же вы помещики? — пожал плечами прокурор. — Сорок шесть гектаров, крестьянский дом в три комнаты. Это не помещичье, а кулацкое хозяйство. Не скрою: всего этого вам не оставят, да вы и сами не захотите, так как налоги были бы для вас непосильны! Дом и сад, безусловно, ваши, живите, трудитесь, обрабатывайте то, что вы в состоянии обработать собственными руками, не используя наемный труд. Пару лошадей, соответствующий инвентарь — это по вашему выбору; корову или даже две вы также отберете, какие вам нравятся. Ну а мелкий скот: овцы, свиньи и разная там птица — это, безусловно, ваше...

— Понятно! И все же — главный вопрос: кому убирать пшеницу? Пусть она не моя, но пропадать она не должна! Ведь это народное богатство!

— Это вы правильно заметили! И за то, чтобы оно не пропало, вы в ответе. Собрать пшеницу должны вы.

¹ Лицей имени Ксенопола (рум.).

— Ладно! Собрать нужно... Но как расплачиваться с уборщиками?

— А как у вас принято расплачиваться?

— Зависит от желания косарей. Чаще всего от скошенной десятины: скосить, связать, сложить в кресты и подгрести. Можно за пятый сноп; иногда за косу три пуда, то есть пятьдесят килограммов в день. Харчи всегда мои. Иногда люди предпочитают за деньги, так как в это время года зерно дешевое, и если у человека своего хлеба довольно, то предпочитают получить деньгами. Но теперь это вряд ли возможно: денег мне взять негде. Да и неизвестно, какие деньги будут у нас в ходу.

— Да, это трудно решить... Что же, по-вашему, делать? Пшеница должна быть убрана!

— Что ж, за уборку дам пятый сноп. Так или иначе, пшеница будет в сохранности. А дальше вы укажете, как и что полагается делать.

— Желаю вам с мамашей полного успеха! Всегда обращайтесь к нам, и можете рассчитывать на помощь. Я очень рад видеть с вашей стороны желание трудиться для общей пользы!

С крепким рукопожатием мы расстались. Как далеки мы были от мысли, что в ту минуту, когда этот человек — юрист, представитель закона, символ справедливости — так обнадеживающе жал мою руку и желал успеха, было уже решено — с его ведома — наглядно расправиться с нами, помещиками!

«С тобой я ничего не боюсь!»

Мы вышли из прокуратуры и остановились у крыльца. После полутемной комнаты солнце ослепило нас.

— Как все странно! — сказала мама. — Прокурор, кажется, очень славный, сердечный человек. И все же все это так необычно, что голова кружится! Сколько перемен! За ошибки надо платить... Не мы делали эти ошибки, а наши предки — все это дворянство, помещики царских времен! Они были эгоистичны и неразумны, они не могли, а может быть, и не желали заботиться о народе — дать ему образование и хороших чиновников, а не тех взяточников и картежников, о которых писал Чехов! Сколько было совершено ошибок! Мы с тобой никого никогда не обижали. А папа? Он был идеальный, кристально чистый человек, наделенный гражданским мужеством. Своим отцом ты можешь только гордиться! И все-таки мы с тобой должны теперь расплачиваться за всех этих Победоносцевых и Сухомлиновых, за всех тех, кто не сумел создать великую Россию и довел страну до страшных потрясений! Заметила ли ты: при прежней, царской России главой нашей семьи был папа; когда мы переехали в Румынию, папа держался

в стороне, а роль главы перешла ко мне — я знала в совершенстве язык, могла бороться с румынскими бюрократами, защищать наши интересы и добилась в этой борьбе победы. Теперь же, при советском строе, главой становишься ты: молодой строй — молодежи открывается дорога! С тобой я ничего не боюсь и верю, что все будет хорошо! И знаешь что? Сделаем сегодня на обед вареники с малиной! Вишни пока что зеленноваты... Свежая сметана у нас есть, а сахар сейчас купим: полкилограмма на сегодня нам хватит. В мой ридикюль больше и не войдет.

И мы пошли, оживленно разговаривая, домой. Становилось жарко, и мы избрали дорогу чуть более длинную — через лес. Если бы мы прошли обычным путем, через деревню, то мы увидели бы, как выгоняют из дому дядю Борю — младшего брата моего отца... Впрочем, что могли мы сделать? Отвести удар мы не могли. Что легче: видеть, что над тобой занесен топор, или получить удар неожиданно?

Короче говоря, занесенного топора мы не видели.

Вареники с малиной

Из лесу через сад и пустынный двор мы прошли в дом и переоделись. Мама сняла траурное платье и шляпу с вуалью, накинула легкий серенький халатик, надела туфли-шлепанцы и принялась за тесто для вареников; я сбросила сапоги, взяла решето и направилась в сад — нарвать малины. С полным решетом возвращалась я из сада, пританцовывая и подсвистывая какой-то пичужке, кажется овсянке. Это были последние в нашей жизни счастливые минуты...

Какая крупная, душистая малина! И вообще, как хороша жизнь, как ярко солнце на чистом, голубом небе! Наверное, мама уже раскатывает тесто. Малину нужно засыпать сахаром...

Кто взял у меня из рук решето с малиной? Не помню... Вот мама стоит в халате, перепачканном мукой; в руках, вымазанных тестом, черная сумочка. Зачем? Что это за люди? Чужие, незнакомые... Все молчат. Или я просто не слышу? Такое чувство, будто меня стукнули по голове. Не больно... Но я ничего не понимаю. И небо уже не голубое.

Как мы прошли с мамой через сад — не помню. Лишь когда мы очутились возле папиной могилы, я поняла: нас выгнали.

На папиной могиле

Ни стона, ни слезы не проронила мама, опустившись на колени и припав лицом к нагретой земле. Я опустилась с нею рядом и поцеловала крест.

.....

Сколько времени прошло? минута? час? Не знаю...

Кругом нас — женщины. Много женщин. С детьми на руках. Вот Анисия со своей новорожденной. Вот Аксиния Ротарь, на руках у нее Василика, тоже мой крестник, — тот самый Василика, который упал в чугунок вареной тыквы. Как он мне искусал руки, когда я оказывала ему скорую помощь! Да, врач сказал, это было чудо, что он остался в живых, и то лишь благодаря тому, что я сразу отвезла его в больницу.

А женщины отовсюду бегут, бегут. Что им нужно, всем этим женщинам? Я встаю.

— Идем, мама!.. — И помогаю ей подняться на ноги.

Что тут произошло! Боже мой! Женщины заголосили, срывая с головы платки. Те, у кого на руках были дети, побросали их на папину могилу. Вопли и рыдания баб, писк перепуганных ребятишек... Сквозь эту какофонию прорывались лишь отдельные выкрики:

— Кукона такая добрая — нам всем как родная мать! Последние пришли времена — конец света! Где это видано — из родного дома выгнать! Не замолить такого греха: на нас всех падет проклятие! Не будет добра ни нам, ни детям нашим! Проклятие падет на всех нас! Могилы разверзнутся от такой несправедливости!

Женщины ползали на коленях, хватая маму за край халата:

— Сними с нас проклятие! Не будет нам и детям нашим счастья!

Я тащила маму под руку. Она шла не оглядываясь, не пролив ни единой слезинки. Возле папиной могилы остались женщины — большинство на коленях, простоволосые, провожающие нас воплями и причитаниями.

У нас с мамой слез не было.

И вдруг мне вспомнилось: несколько дней тому назад мама разбила свою чайную чашку — простенькую, беленькую — и неутешно плакала:

— Из этой чашки я пила, когда рядом со мной был мой Тоня!

И слезы лились рекой. Мама была неутешна. А ведь это была только чашка!

Какой мерой измеряется горе? И что такое слезы?

*O tempora, o mores!*¹

И вот мы снова в Сороках... Но как все изменилось! Когда мама, бывало, приезжала в Сороки — на своей рессорной бричке, нагруженной с верхом разного рода деревенскими подарками: кому ин-

¹ О времена, о нравы! (лат.) — восклицание Цицерона в его речи против Катилины.

дейка, кому корзина фруктов, крынка сметаны, ком масла или сотня яиц, — все встречали мою маму с распростертыми объятиями, ведь все знали, что, кроме этих мелочей, будет и что-либо покрупнее: воз дров, мешок отборной муки, картошка. «Почему вас давно не видно?!», «А к нам когда?». Когда же Александра Алексеевна пришла пешком, в сером халатике, в шлепанцах на босу ногу и с непокрытой головой, то вдруг выяснилось, что места ни у кого нет: «Ах! К нам из деревни родственники приехали», «А у нас на постое военные»...

Казалось, что горе, нас постигшее, заразно, и все, боясь заразиться, захлопывали перед нашим носом двери. Лишь одна старушка, Эмма Яковлевна Гнанг-Добровольская, предоставила в мамино распоряжение маленькую каморку.

— Мне восемьдесят шесть лет, — сказала старушка, — и, кроме Бога, бояться некого! Вы всегда были у меня желанной гостьей; располагайтесь и сейчас как у себя дома.

Бессарабия: ее география, этнография и язык

Бессарабия — вполне определенное географическое понятие: с запада — Прут, с востока — Днестр; с юга — Дунай и Черное море. Во всех других отношениях это «Ноев ковчег», но географически этот треугольник и есть Бессарабия. И все ее жители, независимо от языка, бессарабцы.

В настоящее время Бессарабии как таковой нет: ее середину с главным городом Кишиневом выдрали и прилепили... к Молдавии! А что она собой представляет? Автономная республика на левом берегу Днестра. Хотя все знают, что Молдавия — область в Румынии на реке Moldova. Нелепость! Как нелепость и русский алфавит для романского языка, каким является молдавский. Северная Бессарабия почему-то прилеплена к Украине вместе с Черновцами. Народ Западной Украины — русины, то есть гуцулы, или полуполяки; Черновцы — австрийской культуры. Зачем понадобилось «обавстриячить и ополячить» Хотин? Южная Бессарабия прилеплена к Украине (равно как и Одесса, хотя всем известно, что Одесса отличается от Иерусалима лишь тем, что в ней нет арабов).

Вопрос: есть ли такой народ — бессарабцы? Можно сказать: Бессарабию населяют молдаване, потому что самый распространенный в ней язык — молдавский. А почему? Потому что молдавский язык — язык романского корня — легче усваивается: он примитивен, грамматика его проста и запас слов невелик. Поэтому на севере светловолосые и светлоглазые Левандовские, Молчановские, Волченко, Мазнюки — явно украинского происхождения — говорят по-молдавски.

Центральная Бессарабия заселена также выходцами с Украины (на этот раз Великой, поднепровской Украины), и внешнею они похожи на украинцев. Фамилии их обычно указывают на профессию предков: Морарь (мельник), Пынзарь (ткач), Ротарь (колесник), Сырбу (цыган). Южная же Бессарабия, как я уже говорила, это и есть «Ноев ковчег»: там оседали колонисты из разных стран. Есть (вернее, было) много немцев; есть даже французы (например, Шабо), но куда больше балканских выходцев: греки, турки, гагаузы (крещенные турки), болгары, сербы, большая примесь цыган. И все это сильно сдобрено румынской примесью. Молдаване Южной Бессарабии смуглы, черноглазы и черноволосы.

И все же весь этот конгломерат — «лоскутное одеяло» — был именно страной Бессарабией, населенной бессарабцами. Да, бессарабцами, хотя такого народа и нет! Но нельзя же выбросить из обращения специфическое понятие «одессит»?

Экспроприация помещичьих земель — ловкий ход Румынии

В прошлом Бессарабия, население которой говорило по-молдавски, фактически была связана с Россией. Некоторое, притом весьма незначительное, тяготение к Румынии отмечалось лишь на самом юге — в Измайлловском и Кагульском уездах, и то лишь из-за того, что там протекает река Дунай, на которой расположен порт Галац.

Почему же в 1918 году Бессарабия перекинулась к Румынии? Было ли это действительно добровольное присоединение?

И да и нет.

Было и давление, и применение силы. А кроме того, румыны обещали провести аграрную реформу, в результате которой помещичьи земли должны были стать собственностью крестьян.

Да, но советская власть еще раньше провозгласила лозунг «Земля — народу».

Земля — всегдашняя мечта крестьянина. Но он ее хочет получить законным образом, а не путем насилия. Румыны это очень хорошо поняли: земля была экспроприирована у помещиков и продана крестьянам. Практически она была конфискована у помещиков и подарена крестьянам. Видимость законности была соблюдена: помещики получили *bonuri de exproprié*¹, своего рода облигации, фактическая цена которых равнялась цене бумаги, а крестьяне выплачивали госу-

¹ Экспроприационные бонусы (рум.).

дарству годовую аренду с рассрочкой на десять лет. Земля была разделена поуездно, а уезд разделил ее на мужскую душу: если в уезде было много помещичьей земли, то на душу приходилось больше. Так, в Хотинском уезде пришлось по 2–2,5 десятины на душу, а в Кагульском — по 6,5. Помещики также обижены не были: в каждом имении было оставлено по 100 гектаров (но не на мужскую душу, а на всю семью).

Эта реформа 1918 года была ловким маневром. В России пылал пожар Гражданской войны: белые никакой аграрной реформы провести не догадались, красные разрешили этот вопрос путем грабежа. В 1918 году еще не было известно, чем закончится борьба. И бессарабские крестьяне предпочли синицу в руке. Говорят, что был избран Сфатул Цэрий — своего рода Учредительное собрание — и проведен плебисцит, причем народ высказался за присоединение к Румынии.

Самоопределение народов и всякие там выборы и плебисциты, в принципе, выглядят красиво, но для того, чтобы это не было ни очковтирательством, ни обманом, это должно происходить без запугивания и нажима, то есть необходимо, чтобы народ был не только грамотным, но и культурным... и чтобы не было страха.

В Бессарабии же имелись налицо: с одной стороны — неграмотность, с другой — обман и сила. Но «как бы ни болел, а умер благополучно» — и Бессарабия в 1918 году присоединилась к Румынии.

В дальнейшем румыны, стремясь отрезать все пути к отступлению, стали всеми способами (в большинстве случаев — нелепыми) румынизировать Бессарабию и вели себя до того глупо и нетактично, что добились как раз обратного эффекта.

Недаром говорили, что генерал-губернатор Бессарабии Чупарка заслужил орден Ленина, — до того он сумел своим неумеренным шовинизмом сделать все румынское столь odioзным, что в знак протеста население стало, как говорится, спать и видеть, когда же русские наконец прогонят осточертевших захватчиков. Люди верят в то, во что им хочется верить. И того, кто хочет быть обманутым, обмануть очень легко!..

Удивляться ли тому, что 28 июня 1940 года советские войска были встречены как освободители? Колокольный звон, священники с хлебом-солью... А как мама была растрогана тем, что солдат назвал ее «мамаша»! А я? Разве моя душа не рвалась навстречу им? Но зачем подчеркивать, что ошибки свойственны всем людям? Зачем снова и снова твердить, что легче всего обмануть того, кто хочет быть обманутым?